

## Стефан Цвейг Обещание (Путешествие в прошлое)

— Ты пришла! — прошептал он и протянул ей навстречу руки, будто хотел обнять. — Ты пришла, — повторил он, и растерянность в его голосе сменилась тихой радостью. Он с восторгом смотрел на возлюбленную. — Я уже начал бояться, что ты не придёшь!

— Ты перестал доверять мне? — слегка упрекнула его она, улыбнувшись. Её глаза, ясные, как звезды, излучали нежную преданность.

— Нет, вовсе нет. Что в этом мире может быть надёжнее твоего обещания? Только представь себе, как глупо, — совершенно внезапно, не знаю отчего, меня охватил приступ беспричинного страха, мне показалось, что с тобой может что-то случиться. Я хотел уж сам не знаю чего: звонить, бежать к твоему дому, тебя все не было, и меня вдруг пронзила мысль, что мы опять потеряем друг друга. Но, слава Богу, ты пришла...

— Да, пришла, — улыбнулась она, её бездонные голубые глаза сияли, как звезды. — Я пришла, и я готова. Идём?

— Идём! — безотчётно повторили его губы. Но оцепеневшие ноги не могли сделать и шагу: он все никак не мог поверить, что она рядом с ним, и старался запечатлеть её любящим взглядом будто бы навсегда. Грохочущий шум франкфуртского центрального вокзала, где содрогались сталь и стекло, где крики носильщиков и сигнальные свистки поездов, лязг вагонов — все смешалось в непрерывный гул, все это было неважно и несущественно. Единственно реальной была только она, её глаза и улыбка, её руки и губы.

— Людвиг, нам пора, у нас ещё нет билетов.

Только тогда он очнулся и, полный нежного благоговения, взял её под руку.

В вечернем экспрессе до Гейдельберга было непривычнолюдно. Их надежда поехать наедине не оправдалась: тщетно осмотрев вагон, они наконец остановили свой выбор на купе, в углу которого полудремал пожилой седовласый господин. Но не успели они порадоваться своему почти одиночеству, когда перед самым отправлением в купе с шумом ввалились ещё три человека. Судя по разговорам, они были адвокатами, и были так возбуждены только что завершившимся судебным процессом, с таким жаром обсуждали его в голос, что начисто исключало самую мысль об уединении. Так и сидели наши путешественники друг напротив друга, смиренно, не проронив ни слова. И лишь когда один из них поднимал глаза, то видел в неясном свете электрической лампы обращённый на него любящий взгляд второго.

Поезд мягко тронулся, и вскоре стук колёс заглушил беседу пассажиров, превратив её в нестройный шум. А потом неровное движение вагона и тряска постепенно перешли в ритмичное покачивание — стальная колыбель убаюкивала пассажиров, погружая их в воспоминания — каждого в своё. И только мысли этих двоих мечтательно уносились в их общее прошлое.

Они впервые встретились более девяти лет назад, и теперь, спустя годы, разделившие их непреодолимым расстоянием, вновь ощутили ту первую безмолвную близость. Боже правый, как давно это было, сколько воды утекло: девять лет, четыре тысячи дней и четыре тысячи ночей до этого самого дня, до этой самой ночи! Сколько времени, сколько потерянного времени, и все же силой мысли всего за миг можно было перенестись в начало начал. Как все произошло? Он помнил до мелочей. Впервые он пришёл в её дом, когда ему было двадцать три года и на приподнятой верхней губе уже виднелся крохотный пушок. Он рано распрощался с детством, полным унижений и бедности. Он вырос в чужих домах, перебивался работой гувернёра и репетитора и преждевременно разочаровался в жизни, состоявшей сплошь из лишений и тяжкого труда. Днём он старался раздобыть хоть несколько пфеннигов на книги, а по ночам учился, невзирая на усталость и напряжённые до предела нервы. Зато он стал лучшим выпускником химического факультета и по рекомендации своего профессора получил место у известного во Франкфурте-на-Майне тайного советника Г., который руководил большой фабрикой. Сначала ему давали мелкие поручения в лаборатории, но вскоре тайный советник заметил серьёзное отношение молодого человека к работе, его

огромный потенциал и целеустремлённость, с которой тот брался за всякое дело, и решил присмотреться к нему получше. Чтобы проверить юношу, тайный советник поручал ему все более ответственные задания, а тот хватался с жадностью за любое из них, так как только в работе видел избавление от нищеты. Чем больше работы взваливали на этого труженика, тем большую стойкость он проявлял. В короткое время из заурядного лаборанта он превратился в помощника, который ассистировал при секретных опытах, а тайный советник даже стал благосклонно называть его «юным другом». Молодой человек и не подозревал, что находился под постоянным наблюдением, и, пока он с неистовым рвением выполнял повседневные задачи, начальник, почти всегда остававшийся в тени, уже готовил ему великое будущее. Тайный советник страдал ишиасом, который причинял ему страшные неудобства, зачастую не позволял отлучаться из дома, а порой даже приковывал к постели.

Вот почему, чувствуя близкую старость, он уже долгие годы присматривал себе личного секретаря, человека, с которым он мог бы обсуждать секретные патенты и тайные опыты. Наконец, как ему казалось, он нашёл его. В один прекрасный день тайный советник обратился к изумлённому юноше с неожиданным предложением: не хотел бы тот оставить свою меблированную комнату в пригороде и, дабы всегда быть под рукой, переехать в его просторный особняк в качестве личного секретаря. Молодой человек был удивлён такому неожиданному предложению, но ещё более удивился тайный советник, когда тот, подумав, категорически отклонил столь перспективную должность, мотивируя отказ пустыми отговорками. Тайный советник был выдающимся учёным, но не столь хорошо разбирался в тонкостях душевной организации, чтобы догадаться об истинной причине отказа, да и сам упрямец, пожалуй, не осознавал до конца своих чувств. А чувства эти были ничем иным, как отчаянно скрываемой гордостью уязвлённого человека, который стыдился своего детства, проведённого в страшной нищете. Он повзрослел в домах богатых выскочек, находясь на оскорбительном положении гувернёра, был бессловесным существом, чем-то средним между слугой и домочадцем. Он существовал и одновременно не существовал для окружающих, эдакое украшение вроде букета магнолий на столе, который выставляют или убирают по мере надобности. Его душа была полна ненависти к сильным мира сего, к их кругу, их тяжеловесной, громоздкой мебели, к их помпезным трапезам, к этому миру роскоши, где его лишь терпели. Ему пришлось пережить все: и оскорбления дерзких детей, и ещё более оскорбительное сострадание хозяйки дома, которая в качестве довеска вручала ему небольшую сумму денег в конце месяца, и насмешливо-ироничные взгляды служанок, когда они наблюдали за перемещением его жалкого скарба, состоящего из деревянного сундука, в котором лежал единственный костюм и серое заштопанное бельё, этот верный признак бедности. Нет, никогда в жизни — поклялся он себе, — никогда не окажется он в роли приживалы, никогда не вернётся в мир богатства, если только оно не будет принадлежать ему лично, никогда не выставит напоказ свою нужду и не позволит ранить себя презренными подарками из милости. Никогда, больше никогда в жизни. С таким трудом завоёванная степень доктора наук, словно дешёвое, но непромокаемое пальто, защищала теперь его от намёков на низкое социальное положение, а успехи в конторе успокаивали и даже давали почувствовать собственную независимость. Нет, ни за какие деньги не продаст он эту свободу. Именно поэтому он отклонил лестное приглашение без всяких убедительных доводов, даже рискуя погубить свою карьеру.

Однако вскоре непредвиденные обстоятельства не оставили ему выбора. Болезнь тайного советника многократно усилилась, и тот вынужден был долгое время лежать в постели, не в состоянии связаться со своей конторой даже по телефону. Потому личный секретарь стал абсолютной необходимостью, и молодой человек уже не смог уклониться от нового приглашения в компаньоны. Переезд, видит Бог, дался ему нелегко: он очень хорошо помнил тот день, когда впервые позвонил в дверь благородного, немного старомодного особняка на улице Бокенгеймер-Ландштрассе. Чтобы явно не выдавать свою нужду, накануне вечером он второпях купил новое бельё, сносный костюм чёрного цвета и новую пару обуви. На это ушли все скромные сбережения — на его скудное жалованье жили в затерянном

провинциальном городке мать и две сестры. К тому же он нанял слугу, который донёс до дома его сундук с пожитками, столь ненавистный из-за множества связанных с ним воспоминаний. У него перехватило дыхание от неловкости, когда лакей в белых перчатках чинно отворил перед ним дверь, а из передней пахнуло удушливой, пресыщенной атмосферой богатства. Уже внизу его встречали мягкие ковры, заглушавшие шаг, и развешанные всюду гобелены, которые вынуждали посетителя устремить восторженный взор наверх; в передней были резные двери с тяжёлыми бронзовыми ручками, к которым совершенно точно никогда не прикасалась хозяйская рука, — эти двери распахивал склонившийся в поклоне, вышколенный слуга. Вся эта роскошь одновременно оглушала его и вызывала отвращение. И когда лакей показал ему комнату для гостей с тремя окнами, отведённую специально для нового секретаря, он с невероятной остротой почувствовал себя чужаком и непрошеным гостем. Неужели ему, ещё вчера уютившемуся на пятом этаже в продуваемой всеми ветрами каморке с деревянной кроватью и жестяным умывальником, теперь предстояло жить здесь, где каждый предмет кричал о роскоши и богатстве и с насмешкой взирал на человека, которого лишь терпели в этом доме? Все, что он принёс с собой, включая его самого, сделалось жалким и маленьким в большой, пронизанной светом комнате. Единственный костюм, словно висельник, покачивался в широком, вместительном шкафу, немногочисленные умывальные принадлежности и старенький бритвенный прибор казались на большом умывальном столе, отделанном мраморной плиткой, мусором или забытым инструментом полировщика. Он машинально спрятал свой тяжёлый, топорный сундук под нарядное покрывало, завидуя его возможности забиться в укромное место и спрятаться ото всех, сам же он ощущал себя застигнутым врасплох взломщиком, которого заперли в этой комнате. Напрасно пытался он прогнать постыдное и досадное чувство собственной ничтожности, уговаривая себя тем, что его пригласили, что в нем нуждались. Роскошная обстановка снова и снова сводила все его доводы на нет, он опять видел себя поверженным, маленьким и согбенным под гнетом чванного, хвастливого мира денег, мира, где человека покупают и одалживают, как мебель, лишают собственного я. В этот момент в дверь тихо постучал лакей и с застывшим выражением лица сообщил, что господина доктора желает видеть Её превосходительство. Медленно шагая за слугой через анфиладу комнат, он почувствовал, как впервые за много лет сторбилась его спина и плечи подались вперёд для услужливого поклона, как спустя годы его вновь охватили мальчишеская неуверенность и смятение.

Но стоило ему увидеть её в первый раз, как чувство неловкости сразу исчезло. Он ещё не успел разглядеть лицо и фигуру собеседницы, а первые слова её уже тронули его сердце. И этими первыми словами были слова благодарности, прозвучавшей до такой степени искренне и непринуждённо, что сгустившиеся над ним тучи негодования развеялись от удивления.

— От всего сердца благодарю вас, господин доктор, — сказала она и дружелюбно протянула ему руку, — за то, что вы все же приняли приглашение моего мужа, надеюсь, что в скором времени мне представится возможность доказать вам свою благодарность. Вам, верно, нелегко далось это решение, ведь от свободы не так просто отказаться, но, может быть, вас успокоит сознание того, что теперь вам будут крайне обязаны два человека. Я с радостью сделаю все, что в моих силах, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома.

Что-то внутри у него дрогнуло. Откуда знала она, с какой неохотой продавал он свою свободу, как удалось ей с первых слов понять его боль, нащупать самую чувствительную струну, как определила она пульсирующий источник его боязни потерять свою свободу? Как удалось ей развеять его страх первым же движением руки? Он невольно посмотрел на неё и только теперь увидел тёплые, участливые глаза, с доверием ожидавшие ответного взгляда.

Её лицо светилось нежностью, покоем и светлым чувством собственного достоинства. Она была молода, но в то же время удивительно проникательна. Казалось, она не по годам рано разделила свои тёмные локоны строгим пробором, какой обычно носили матроны; тёмное платье закрывало округлые плечи от самой шеи — оно ещё большое оттеняло её лицо, излучавшее отрадный свет. Она напоминала городскую мадонну: было что-то монашеское в её закрытом платье, а доброта делала каждое её движение по-матерински заботливым.

Женщина плавно шагнула к нему, и её улыбка сорвала благодарность с его нерешительных уст.

— У меня к вам одна просьба, первая просьба в первый же час знакомства. Я знаю, как посторонним людям сложно жить вместе. Тут может помочь лишь одно — откровенность. Вот почему я прошу вас говорить мне прямо, если вас стеснит какое-либо обстоятельство, обременит чьё-то отношение или окружающая обстановка. Вы помогаете моему мужу, а я его жена, это должно объединить нас, так давайте будем откровенны друг с другом.

Он пожал ей руку — они заключили договор. И в ту же минуту он почувствовал привязанность к её дому. Роскошь перестала враждебно давить на него, напротив, он начал воспринимать её как необходимый фон благородства, которое приводило в гармонию все враждебное, запутанное и противоречивое. Лишь со временем он обнаружил, что роскошь в этом доме подчинена высшему порядку, созданному благодаря художественному вкусу хозяйки, он чувствовал, как спокойный ритм бытия проникал и в его собственную жизнь, в его собственные слова. Он испытывал странное успокоение: из всех его мучительных, острых и тяжёлых переживаний ушла злоба, исчезла раздражительность. Мягкие ковры, обитые тканями стены и цветные гардины будто поглощали свет и шум улицы. Он понимал, что этот порядок возникает не сам по себе, что его создаёт тихая женщина с неизменно-доброй улыбкой. То, что вначале казалось ему волшебством, в последующие недели и месяцы было им вполне осознано: со сдержанным чувством такта хозяйка постепенно, без принуждения, вводила его во внутренний уклад дома. Она оберегала его, но не стерегла, и он ощущал предупредительное внимание, окружившее его, будто издалека. Его малейшие пожелания, стоило ему едва намекнуть о них, исполнялись, словно по велению доброго домашнего духа, которого невозможно было отблагодарить. Как-то вечером, листая папку с гравюрами, он выразил безмерное восхищение «Фаустом» Рембрандта — и через два дня обнаружил репродукцию в рамке над своим письменным столом. Стоило ему упомянуть, что кто-то из его друзей хвалил некую книгу, как в последующие дни он случайно наткнулся на неё в библиотеке. Незаметно комната его стала соответствовать желаниям и привычкам своего постояльца. Часто случалось так, что сначала он даже не замечал, какая деталь обстановки изменилась, лишь чувствовал, что стало уютнее, ярче и теплее, пока, наконец, не обнаруживал, что оттоманка укрыта вязаным восточным покрывалом, похожим на то, что он однажды рассматривал в витрине, или шёлковый абажур лампы сменил свой цвет на малиновый. Его все больше притягивала атмосфера дома, все с меньшей охотой покидал он его стены, в которых нашёл себе верного друга в лице одиннадцатилетнего мальчика; он полюбил сопровождать ребёнка и мать в театр и на концерты. Он не осознавал, что вся его жизнь вне работы теперь была озарена мягким лунным светом её тихого присутствия.

С первой встречи полюбил он эту женщину, но, хотя любовь страстно и полно вошла даже в его грёзы, не хватало самого главного, а именно сознания того, что чувство, которое он изворотливо называл то восхищением, то уважением, то привязанностью, на самом деле было любовью, фанатичной, необузданной, полной страсти любовью. Какое-то лакейское начало подавляло в нем понимание природы зародившегося чувства — такой далёкой казалась она ему, такой благородной и недоступной, эта чистая женщина, озарённая нимбом, закованная в богатство, как в броню, воплощение самой женственности. Кошунством была сама мысль о том, что она может принадлежать тому же полу и действовать по тем же законам, что и женщины из домов, в которых прошла его рабская юность. Он не смел сравнивать её с теми горничными из богатых усадеб, которые из любопытства впускали к себе молоденького гувернёра, желая узнать, так ли все бывает с образованным, как с кучером или со слугой, не сравнивал её с портнихами, которых встречал по дороге домой в неясном свете уличных фонарей. Нет, эта женщина не имела с ними ничего общего. Она была светлым ангелом непорочности, чистым и бесплотным, и даже в самых смелых своих грёзах он не осмеливался раздеть её. Он просто наслаждался каждым её движением, как музыкой, радуясь её доверительному отношению и страшась обнаружить перед ней то безмерное чувство, что переполняло его, чувство, до сих пор безымянное, но давно созревшее, замкнутое внутри его,

хоть и накалившееся до предела.

Однако любовь становится истинной лишь тогда, когда она перестаёт мучительно бурлить, запертая, как зародыш, в темнице человеческого тела, когда осмеливается назвать себя и когда заявляет о себе каждым вдохом, каждым словом. Как бы долго ни зрело чувство, всегда наступает час, когда оно внезапно прорывает свой кокон и шквалом обрушивается на испуганное сердце, приводя его в смятение. С ним это произошло довольно поздно, на второй год пребывания в её доме.

Однажды воскресным днём тайный советник позвал молодого человека к себе. Одно то, что старик вопреки обыкновению, коротко поприветствовав его, сам закрыл за ним дверь и по телефону отдал указание никого к себе не пускать, уже говорило о том, что им предстоял особый разговор. Советник предложил ему сигарету и обстоятельно раскурил свою, словно оттягивая заранее продуманную речь. Начал он с того, что многократно поблагодарил за службу юного помощника, который во всех отношениях превзошёл его доверие: ни разу не пришлось ему сожалеть о том, что он поручал тому самостоятельно решать самые тайные деловые вопросы. Вчера же, по словам советника, в их фирму пришла важная весть из-за океана, о которой он и собирался немедленно поведать. Новый метод работы, хорошо знакомый молодому доктору, требовал большого количества редкой руды, и вчерашняя телеграмма как раз сообщала о том, что в Мексике обнаружены большие запасы этого металла. Главное сейчас было не терять времени, быстро заполучить месторождения для фирмы и организовать на месте добычу и переработку, пока американские концерны не перехватили рудник. Для выполнения этой задачи требовался надёжный и в то же время молодой и энергичный человек. Для него, старика, конечно, станет большим ударом потеря близкого и надёжного помощника. И все же он считает своим долгом предложить на заседании членов правления фирмы именно своего протеже в качестве самого порядочного и единственно подходящего кандидата. Уверенность в том, что он смог обеспечить своему помощнику блестящее будущее, станет для него наградой. Через два года после назначения тот сможет скопить себе небольшое состояние благодаря щедрому жалованью, а по возвращении получит ведущее место в фирме.

— В общем, — закончил тайный советник, протянув своему помощнику руку и желая тому удачи, — у меня есть предчувствие, что вы ещё будете сидеть здесь, за моим столом, и доведёте до конца дело, которое я начал тридцать лет назад.

Разве могло не взволновать молодого честолюбца подобное предложение, прозвучавшее как гром среди ясного неба? Наконец-то, вот она, распахнутая дверь, вот лестница наверх — прочь из-под гнёта нищеты, из беспросветного мира прислуживания и повиновения. Он принялся жадно изучать документы и телеграммы: постепенно из отрывочных сведений стал вырисовываться грандиозный план. На него вдруг обрушилось море цифр: тысячи, сотни тысяч, миллионы цифр, которыми предстояло распорядиться; сознание того, что он, как по волшебству, перенёсся из своего безрадостного мирка в заоблачные выси к власти, оглушило его и заставило сердце бешено колотиться. Но не одни только деньги притягивали его, не только дело, предприятие, риск и ответственность — нет, ещё нечто несравненно более заманчивое грело его честолюбие. Он мечтал о создании целого нового мира, о творчестве в высшем понимании созидательной работы: там, где горная порода тысячелетиями безмятежно спала в земной утробе, он пробурит штольни, построит города, там раскинутся улицы и вырастут дома, машины будут грызть землю, краны возводить стены. За голыми цифрами он уже видел буйство невероятных и все же материальных форм: строений, усадеб, ферм, фабрик, магазинов — нового уголка человеческого мира, который предстояло создать на пустом месте ему, его таланту руководителя и организатора. В маленький кабинет неожиданно ворвался морской бриз, пропитанный опьяняющим ароматом дальних стран, цифры сложились в фантастическую сумму.

Восторженное упоение не покидало его и придавало всем решениям ощущение внезапности полёта. Они с тайным советником условились обо всем в общих чертах и даже согласовали чисто практические вопросы. В руках у него зашуршал чек с неожиданно крупной

суммой на расходы во время поездки, и после очередного высокого совещания было решено, что он отправится в путь через десять дней на ближайшем пароходе. В тот день он вышел за порог кабинета, ещё разгорячённый мельканием цифр и оглушённый вихрем волнующих воображение возможностей. Лишь мгновение он простоял как безумный, глядя по сторонам, соображая, был ли этот разговор правдой или фантазмагорией, рождённой его воспалённым честолюбием. Словно на крыльях вознёсся он из бездны в сверкающий мир исполнения желаний. Кровь все ещё кипела в жилах от такого стремительного полёта, на какое-то время ему даже пришлось закрыть глаза. Он опустил веки, как другие делают глубокий вдох, единственно для того, чтобы остаться наедине с собой. Спустя минуту, словно набравшись сил, он вновь открыл глаза и обвёл взглядом хорошо знакомую приёмную, в тот момент его взор случайно остановился на портрете, висевшем над большим сундуком, на её портрете. Она смотрела на него с полуулыбкой — спокойно, радостно и одновременно многозначительно, словно понимала каждое слово, произнесённое его душой. Именно в ту секунду его вдруг пронзила мысль, о которой он совершенно забыл, — его согласие принять новую должность значило и то, что ему придётся покинуть её дом. Боже правый, покинуть её! Догадка эта словно ножом полоснула по развёрнутым парусам его радости. В тот самый не подвластный контролю миг внезапного озарения сердце его стремительно сжалось: молодой человек почувствовал, какую боль и смертельные муки причиняла ему одна только мысль о том, что он лишится её. Покинуть, Боже правый, покинуть её! Как мог он думать о поездке, как мог принять такое решение, будто был вправе распоряжаться своей судьбой и будто не принадлежал ей всеми фибрами своей души! Боль разгоралась в нем против его воли — стихийная, совершенно отчётливая, судорожная, физическая боль. Он получил удар, поразивший все тело. И теперь было уже бесполезно отрицать, что каждый нерв, каждая клеточка его существа — все цело любовью к ней, единственной возлюбленной. Стоило ему произнести про себя это волшебное слово, как с невероятной скоростью в сознании замелькало множество мимолётных образов и воспоминаний, каждое из которых проливалось яркий свет на его чувство, он воскрешал в памяти детали, значение которых до сегодняшнего дня не осмеливался толковать. Только теперь он осознал, что уже многие месяцы находился в полной её власти.

Разве не было той пасхальной недели, когда она уехала к своим родственникам на три дня, а он как потерянный блуждал из комнаты в комнату, не в состоянии даже открыть книгу, взволнованный чем-то, не понимавший причины своего волнения? А когда она должна была приехать, разве не ждал он до часу ночи, чтобы услышать её шаги? Разве не спускался он в нетерпении по лестнице, чтобы проверить, не подъехал ли экипаж? Он вспомнил, как случайно в театре коснулся её руки, и холодная дрожь пробежала по коже до самого затылка. Сотни подобных маленьких пронзительных воспоминаний, едва уловимых мелочей, словно прорвав плотину, бурным потоком устремились в сознание и в кровь и рвали его сердце. Он невольно прижал руку к груди, желая унять боль, но это не помогло: нужно было прекратить сопротивление и признаться самому себе в том, что так долго скрывало его подсознание с помощью всевозможных уловок — он больше не мог жить без неё. Два года, два месяца, две недели без её мягкого света, озарявшего его путь, без душевных разговоров в вечерние часы — нет, он не вынесет этого. И то, что ещё десять минут назад переполняло его гордостью: его миссия в Мексике, восхождение к созидательной власти, — рухнуло, сдулось, лопнуло, как искрящийся мыльный пузырь. Остались лишь расстояния, дали, заточение, ссылка, изгнание, разбитые надежды, разлука, которую невозможно пережить. Нет, он просто не мог уехать, его рука уже потянулась к дверной ручке, он уже собирался снова войти в кабинет, чтобы сообщить тайному советнику, что отказывается от предложения, так как чувствует, что недостойн этого назначения и что лучше ему остаться дома. Но в тот момент он услышал предостерегающий голос страха — не сейчас! Нельзя раньше времени рассказывать кому бы то ни было о том, что только начало открываться ему самому. И он опустил дрожащую руку с прохладного металла.

Он ещё раз взглянул на портрет: казалось, её глаза смотрят на него ещё пристальнее, только улыбки на губах больше не было. Она глядела строго, почти печально, будто желала

сказать: «Ты хотел забыть меня». Больше не в силах выносить этот взгляд, шатаясь, он вошёл в свою комнату и в странном, почти обморочном состоянии ужаса, которое, как ни странно, было проникнуто таинственным очарованием, опустился на кровать. Он начал жадно вспоминать все, что пережил в этом доме с самых первых минут своего пребывания здесь, и даже самые незначительные мелочи теперь приобретали иное значение и виделись в ином свете. Все было озарено тем самым внутренним светом осознания, все стало понятно и воспарило в раскалённом воздухе страсти. Он вспоминал то хорошее, что она сделала для него. Все кругом говорило о ней: он останавливался взглядом на предметах, которых касалась её рука, и в каждом находил блаженную частичку её присутствия. Она была в этих предметах, он чувствовал в них её благие мысли и преисполнился уверенности в её добром к нему отношении. И все же в самых глубинах его существа что-то ещё мешало, словно камень, свободному течению чувств, что-то лишнее, какой-то забытый сор, который следовало вынести, чтобы его любовь могла литься свободно. Он попытался осторожно нащупать это тёмное пятно, этот вопрос, скрытый в самых дальних уголках его души. Он уже догадался о его значении, и все же не смел прикоснуться к нему. Но этот вопрос требовал незамедлительного ответа: а была ли с её стороны симпатия — он не решался сказать «любовь» — в тех небольших знаках внимания, которые она оказывала ему, была ли кроткая, пусть не страстная, нежность в том, как она оберегала его пребывание в доме? Он все время возвращался к этому тягостному вопросу, будоражащему кровь. «Только бы сосредоточиться!» — говорил он себе, но чувствовал, что мысли слишком тесно переплелись с неясными мечтами и желаниями, с той болью, которая непрестанно ранила сердце из самых глубин его существа. Так прошёл час или два, пока он, наконец, не очнулся, услышав лёгкий стук в дверь, такой знакомый, осторожный стук. Он вскочил с кровати и бросился к двери.

Она стояла перед ним, улыбаясь:

— Господин доктор, почему же вы не выходите? Вас уже дважды звали к столу.

Почти озорно звучал этот упрёк, будто ей было приятно пожурить его за рассеянность. Но стоило ей увидеть его лицо, растрёпанные, взмокшие волосы и блуждающий безумный взгляд, как она сама побледнела.

— Ради Бога, скажите, что с вами случилось? — смущённо пролепетала она, и этот взволнованный испуг в её голосе обрадовал его.

— Нет, нет, — он быстро взял себя в руки, — я просто немного задумался. Все произошло как-то слишком быстро.

— Что? Что произошло? Ну говорите же!

— Так вы ничего не знаете? Разве господин тайный советник ничего вам не рассказал?

— Нет, ничего! Что произошло? Расскажите же, наконец! — торопила она, почти теряя голову при виде его рассеянного, разгорячённого и уклончивого взгляда.

Тогда он собрал все свои силы, чтобы взглянуть на неё прямо, не краснея.

— Господин тайный советник был милостив ко мне и доверил большую и ответственную должность, которую я принял. Через десять дней я на два года уезжаю в Мексику.

— На два года! О Боже! — скорее выкрикнула она, чем сказала, и в этом крике прозвучал вырвавшийся из самого сердца страх. Она невольно выставила вперёд руки, будто пытаясь защититься от чего-то. Напрасно старалась она в следующие мгновения отрицать вырвавшееся на волю чувство, но в этот момент — они и сами не поняли, как это случилось, — он уже держал её дрожащие руки в своих руках, и прежде чем она успела понять, что происходит, их трепещущие тела, охваченные огнём, уже соединились в бесконечном поцелуе, утолившем жажду и желание предыдущих бесконечных дней и часов.

Не он притянул её к себе, и не она его — они прильнули друг к другу, словно от порыва ветра, который единым целым унёс их в бездну забытья, погрузил в состояние сладкого и одновременно жгучего беспомыслия — слишком долго копившееся чувство, зажжённое волей случая, высвободилось в один миг. Постепенно приходя в себя после внезапного поцелуя, все ещё чувствуя дрожь в ногах, он поднял на неё глаза, в глубине которых сиял нездешний свет. И только тогда его озарило — эта женщина, его возлюбленная, уже многие недели, месяцы и

годы любила его, нежно и молчаливо, пылко и страстно. Он упивался открытием, в которое было невозможно поверить: он, он был любим, любим ею, этой недоступной женщиной. Над ним раскинулось небо, ясное и бесконечное, настал солнечный полдень его жизни, который уже в следующую секунду разбился вдребезги. Ибо обретение любви пришло рука об руку с расставанием.

Десять дней до отъезда они пребывали в состоянии хмельного безумия. Чувство, в котором они признались друг другу, вспыхнуло внезапно и неистовой силой взрывной волны. Оно снесло на своём пути все преграды и помехи, все приличия и осторожности: словно звери, распалённые желанием, кидались они друг на друга, когда встречались в тёмном коридоре, за дверью, в углу, пытаясь урвать у судьбы каждую минутку. Рука жаждала прикосновения руки, губы томились по губам — все в них стремилось друг к другу, каждый нерв был напряжён до предела, каждая частичка томящегося страстью тела алкала чувственного прикосновения. Но в доме им приходилось сдерживать себя, ей — чтобы скрывать от мужа, сына и прислуги рвущуюся наружу нежность, ему — чтобы с трезвой головой заниматься расчётами, конференциями и счетами, за которые он отвечал. Везде и всюду ловили они краткие секунды встреч, мимолётные, воровские, полные опасности разоблачения; лишь руками, губами, взглядами могли они мимоходом прикоснуться друг к другу, и эта упоительная, дурманящая близость опьяняла обоих. Но этого было мало. И потому они писали страстные записки, путанные пламенные письма, которые украдкой передавали друг другу в руки, словно школьники, вечером он находил её послания под подушкой, она обнаруживала его ответы в карманах своего пальто. И в конце каждого письма стоял злосчастный вопрос, словно крик отчаяния: как вынести разлуку — долгие недели, долгие месяцы, два полных года, целый океан, целый мир, которые встанут между ними непреодолимой стеной. Они не думали ни о чем ином, они не знали ответа на этот вопрос, лишь только руки, глаза, губы, эти невольники страсти, рвались навстречу друг другу, томясь по единению и по сердечным клятвам. И потому тайные мгновения счастья, редкие и тревожные минуты близости были до крайности преисполнены одновременно наслаждением и страхом.

Но ни разу не посчастливилось ему, сторающему от страсти, в полной мере обладать любимым телом, которое скрывало бесчувственное платье, и все же он ощущал, как под этой оболочкой её обнажённая и горячая плоть стремится к нему навстречу. Ни разу не познал он её в этом вечно освещённом, никогда не спящем доме. Лишь в последний день, когда она пришла в его уже прибранную комнату под предлогом помочь ему собрать вещи, а на самом деле попрощаться, он страстно прижал её к себе, и она, устремившись прочь от его напора, пошатнулась и упала на оттоманку, тогда его поцелуи уже пылали на её вздымающейся под растерзанным платьем груди и губы продолжали жадно лобзать белоснежную горячую кожу там, где бешено колотилось её сердце. И в ту минуту, когда она уже почти уступила и её податливое тело принадлежало ему, она, охваченная волнением, с трудом взмолилась: «Не сейчас! Не здесь! Прошу тебя».

Благоговение, которое он испытывал к столь долго любимой женщине, мгновенно утомило его плоть, он вновь подавил вырвавшиеся было на волю чувства и отпрянул от неё, она же неуверенно встала и спрятала от него лицо. Он дрожал, борясь с собой, тоже отвернувшись, и был столь явно обескуражен, что она ощутила, какую боль причинила ему. Тогда, вновь совладав со своими чувствами, она подошла к нему и тихо утешила: «Я не посмела здесь, только не здесь, не в моем, не в его доме. Но когда ты вернёшься, все будет так, как ты захочешь».

Поезд остановился, скрипя тормозами. Люди, разбирая баулы, спешили на выход, он стряхнул свои воспоминания, однако — это не сон, это блаженство — смотрите, вот же она, перед ним, его возлюбленная, к которой он так долго ехал, с которой так долго не виделся, вот же она сидит, совсем рядом. Поля её шляпы чуть затеняли опущенное лицо. Но она, словно догадавшись о его желании взглянуть на неё, подняла голову и нежно улыбнулась ему в ответ.

— Дармштадт, — сказала она, не глядя в окно, — ещё одна станция.



Он ничего не ответил, просто сидел и смотрел на неё. «Стирающее память время, — думал он про себя, — забвение времени против наших чувств. С тех пор прошло девять лет, но не изменилась ни одна интонация её голоса, каждая клеточка моего тела слушает её с тем же вниманием. Ничто не потеряно, ничто не исчезло, как и прежде, я чувствую тихое блаженство в её присутствии».

Он страстно смотрел на её безмятежно улыбающиеся губы и едва ли мог вспомнить, как целовал их когда-то; смотрел на её руки, которые спокойно и непринуждённо покоились на коленях — как хотел он склониться и поцеловать их или взять в свои ладони всего на секунду, на одну лишь секунду! Но пассажиры ещё оставались в купе, и, чтобы сохранить свою тайну, не дать посторонним войти в их мир, он снова молча откинулся назад. Снова они сидели друг напротив друга, не проронив ни слова, не обменявшись ни жестом, лишь только взгляды их посылали друг другу поцелуи.

За окном раздался гудок, поезд набирал ход, и монотонность движения вновь погружала в воспоминания. Эти тёмные бесконечные годы между прошлым и настоящим, серый океан, раскинувшийся между двух берегов, между двух сердец! Как же они расстались? То было воспоминание, которое он не хотел беречь, не хотел вспоминать тот час последнего прощания, час на перроне того же города, где сегодня он ждал её с открытым сердцем. Нет, прочь от этого воспоминания, долой его, только не думать о той секунде, она была слишком мучительной. Дальше понеслись его мысли: перед ним предстал другой пейзаж. Тогда он прибыл в Мексику с разбитым сердцем и, чтобы пережить первые месяцы, первые ужасные недели разлуки, загружал свой мозг цифрами и проектами, до смерти изматывал своё тело экспедициями и верховыми поездками по стране, бесконечными переговорами и исследованиями. С раннего утра до поздней ночи он включался в непрерывно работающий механизм производства, полный цифр, деловых разговоров и документов, а внутренний голос тем временем отчаянно выкрикивал одно имя, её имя. Он искал забвения в работе, как другой, менее цельный человек, искал бы его в алкоголе. И тем не менее каждый вечер, несмотря на усталость, он садился за стол и час за часом, испещряя страницу за страницей, описывал все, что делал в течение дня, и с каждой почтой отправлял на условленный адрес целые стопки страниц, исписанных дрожащей рукой, чтобы его далёкая возлюбленная могла разделить каждый час его жизни, хоть бы через тысячи океанских миль, через горы и горизонты. Благодарностью за это были письма, которые он получал от неё. Она писала чётким почерком и в сдержанных выражениях, выдававших обузданную страсть. Рассказ её был серьёзен, без жалоб, о том, как проходил день, и ему казалось, что он чувствует направленный на него верный взгляд её голубых глаз, только улыбки не было на лице, той слегка успокаивающей улыбки, которая всегда смягчала серьёзность её тона. Эти письма стали насущной пищей для его одинокой души. Он постоянно брал их в свои путешествия по степям и горам, даже велел пришить к седлу специальную сумку, чтобы защитить их от непогоды, которую приходилось терпеть во время экспедиций. Он столько раз их перечитывал, что знал наизусть, слово в слово, так часто разворачивал, что сгибы прохудились, а отдельные фразы размылись от поцелуев и слез. Порой, когда он был один и знал, что никто ему не помешает, он брал эти письма и проговаривал их, представляя её голос, пытаясь вызвать к себе далёкую возлюбленную. Иногда, если он вдруг забывал какое-то слово, предложение или фразу, то вставал посреди ночи и зажигал свет, чтобы отыскать эти места и по почерку представить её кисть, а за кистью руку, плечо, голову и целиком весь образ, долетевший к нему через моря и океаны. Словно дровосек в дремучем лесу, он с неистовством и мощью прорубал себе путь сквозь дикое и беспросветное время, полное опасностей, с нетерпением ожидая того момента, когда впереди воссияет день возвращения, час отъезда, час встречи, наконец, который он представлял тысячи раз, час, когда он снова обнимет её.

Он жил в недавно образованной рабочей колонии, в деревянном доме, построенном на скорую руку и обшитом металлом. В спальне, которая служила одновременно и рабочим кабинетом, над грубо сколоченной кроватью он повесил календарь, в котором каждый вечер вычёркивал дни, которые ещё оставалось пережить без неё: четыреста двадцать, четыреста

девятнадцать, четыреста восемнадцать дней до возвращения. Ибо он отсчитывал время не от Рождества Христова, а наоборот, до определённого часа, часа, когда он должен вернуться на родину. И когда отсчёт останавливался на круглой цифре: до четырёхсот дней, трёхсот пятидесяти или трёхсот, или же наступал день её рождения, её именины или такие негласные праздники, как день, в который он впервые увидел её, или впервые узнал о её чувстве, — в эти дни он всегда устраивал небольшой праздник для окружающих, которые ни о чем не подозревали. Он одаривал деньгами чумазых детишек метисов, а рабочих — спиртом, так что те горланили песни и скакали, как дикие жеребята; надевал своё выходное платье, приказывал достать вино и лучшие консервы. На специальном древке в этот день развевалось знамя, словно пламя радости, к его дому приходили соседи и помощники, любопытствуя, день какого угодника он отмечает или какой такой курьёзный повод празднует, на что он лишь улыбался и отвечал: «Какая разница? Порадуйтесь со мной!»

Так проходили недели и месяцы, завершился один год и ещё полгода, уже оставались всего семь коротеньких жалких недель до дня возвращения. Сгорая от нетерпения, он уже давно высчитал день отправления парохода и, к удивлению продавца, за сто дней от отъезда забронировал себе каюту на борту «Арканзаса» и оплатил её. Но тут настал день катастрофы, который безжалостно перечеркнул не только его календарь, но и разбил миллионы жизней. В день катастрофы рано утром из серно-жёлтой долины в горы прискакал землемер с двумя прорабами и группой туземных слуг с лошадьми и лошаками, чтобы изучить место для новой буровой скважины, в которой предполагали найти магнетит. Два дня метисы стучали молотками, копали, дробили руду и проводили разведку под безжалостными лучами неумолимого солнца. Как одержимый, он подгонял рабочих, сам не позволял себе пройти и сотни шагов до наскоро выкопанного приямка для сбора воды, чтобы смочить свой пересохший язык, — он хотел вернуться к прибытию почты, получить её письмо, прочитать её послание. На третий день его одолело безумное желание получить известие от неё, он так безрассудно жаждал её слов, что решил отправиться в путь один, лишь бы забрать её письмо, которое должно было прийти ещё накануне. Он невозмутимо вышел из палатки и в сопровождении одного только слуги отправился к железнодорожной станции, до которой всю ночь пришлось ехать верхом по темной опасной горной тропе. Однако утром, когда на усталых лошадях, продрогшие на перевалах в Скалистых горах, они наконец добрались до маленькой деревушки, её непривычный вид удивил их. Несколько белых поселенцев, оставив свою работу, стояли у станции, окружённые гудящей толпой метисов и туземцев, которые кричали, одолевали вопросами и глупо таращили глаза. Ему стоило большого труда пробиться сквозь этот взбудораженный клубок человеческих тел. Там он узнал, что в Европе началась война: Германия против Франции, Австрия против России. Он не хотел в это верить, свирепо прищипорил своего спотыкающегося коня и помчался к правительственному зданию, чтобы там услышать ещё более ошеломляющую новость. Она была хуже первой: Англия тоже вступила войну, закрыв для немцев возможность передвигаться по морю. Железный занавес разделил два континента.

Напрасно он бил кулаком по столу в порыве первого гнева, будто желая поразить нечто незримое. Подобно ему, миллионы беспомощных людей негодовали на эти оковы судьбы. Он тотчас взвесил все варианты, как бы ему тайно выехать из страны, однако знакомый английский консул, случайно оказавшийся рядом, вежливо и твёрдо дал ему понять, что с момента начала войны будет вынужден наблюдать за каждым его шагом. Теперь единственным его утешением была надежда на то, что подобное безумие не может длиться долго и через несколько недель или месяцев эти бестолковые дрызги развязавших войну дипломатов и генералов закончатся. Этой тоненькой соломинке надежды вскоре прибавил силы ещё один элемент, помогавший сильнее забыться, — работа. Из телеграмм, отправляемых через Швецию, он получил задание от своей фирмы: во избежание возможной потери рудника сделать предприятие самостоятельной мексиканской компанией и управлять ею через подставных лиц. На это понадобилась колоссальная энергия, да и война, этот всемогущий пожиратель всего, требовала металла, нужно было ускорить его добычу. Он

напрягал все силы, заглушал все посторонние мысли и вечером, изнурённый в битвах с цифрами и бригадами, падал на кровать без снов и мыслей.

Однако хоть он и полагал, что чувство его неизменно, любовная лихорадка стала постепенно спадать. Человеческая природа устроена так, что не может жить одними воспоминаниями, так же как растения и всякие создания Божьи нуждаются в питательной силе почвы и солнечном свете, так и мечты — эти, казалось бы, горние материи, тоже нуждаются в чувственной пище, в нежных образах, без которых они увядают и тускнеют. Так случилось и с его страстью: проходили недели, месяцы, наконец миновал один год, за ним второй, и не успел он сам того заметить, как постепенно образ милой стал тускнеть. Каждый день, сгоравший в работе, засыпал его воспоминания пеплом, они ещё тлели под этим серым слоем, но со временем пепла становилось все больше и больше. Он ещё порой доставал её письма, но чернила их уже выцвели, и слова перестали трогать его сердце. А однажды он испугался, взглянув на её фотографию, потому что не смог вспомнить цвет её глаз. Сам того не замечая, он все реже доставал некогда столь дорогие свидетельства её любви, оживавшие когда-то волшебным образом, он уже устал от её постоянного молчания и бессмысленных разговоров с тенью, которая не отвечала. В то же время растущее предприятие привлекло много новых людей с семьями, они искали дружбы с хозяином всей этой территории, он сам искал общества, искал друзей, искал женщин. На третий год случай привёл его в дом крупного немецкого торговца в Веракруссе, где он познакомился с его дочерью, светловолосой девушкой, спокойной и домовитой. И тут его обуял страх перед вечным одиночеством в мире, который рушился от ненависти, войны и безумия. Недолго думая, он женился. Потом появился ребёнок, за ним второй — эти живые цветы, распустившиеся на забытой могиле его любви. И круг замкнулся: вне стен дома его окружала бурная деятельность, внутри них — семейный покой, а от того человека, которым он был пять лет назад, не осталось и следа.

Но однажды настал шумный, наполненный колокольным звоном день. Ожили телеграфные провода, и на каждой городской улице крики людей и огромные заголовки газет возвещали о долгожданном мире. Англичане и местные американцы из всех окон бесцеремонно вопили «ура», шумно празднуя гибель его отчизны, — в тот день воспоминания о несчастной родине оживили и образ его любимой. Как жилось ей все эти годы? Среди бедствий и лишений, о которых местные газеты писали иронично и подробно, со всем дерзким журналистским рвением? Уцелел ли во время смуты и разбоя её дом, его дом? её муж, сын, живы ли они? Он проснулся посреди ночи, встал с супружеской кровати, зажёл свет и пять часов кряду до самого рассвета писал письмо, которое все не хотело кончаться, в котором он пересказал ей всю свою жизнь за истекшие годы. Спустя два месяца, когда он уже позабыл о своём послании, пришёл ответ. Он нерешительно повертел в руках объёмный конверт, придя в смятение при виде знакомого почерка. Ему не хватало решимости открыть письмо сразу, словно он держал перед собой ящик Пандоры, скрывавший что-то запретное. Два дня носил он его нераспечатанным в нагрудном кармане. Порой он ощущал, как сердце его рикошетом отскакивало от конверта. В письме, которое он наконец открыл, с одной стороны, не чувствовалось навязчивой доверительности, но, с другой, не было в нем и холодной официальности. Выдержанные строчки письма дышали неподдельной, спокойной приязнью, безо всякого упрёка или отчуждения. Она писала, что муж её умер в самом начале войны, о чем она почти не решается сожалеть, поскольку смерть избавила его от многих ужасов: разорения фирмы, оккупации родного города, бедствий народа, столь преждевременно упивавшегося победой. Сама она и сын её здоровы. Ей было приятно услышать, что у него все хорошо, лучше, чем у неё. С женьбой она поздравила его прямо и откровенно. Он читал её слова с каким-то недоверием в сердце, однако ни одна лукавая нотка не приглушила чистый тон письма. Оно звучало невинно, без какого-либо вызывающего преувеличения или сентиментального трепета, все прошедшее, казалось, растворилось в неизменной симпатии к нему, а страсть очистилась до кристально чистой дружбы. Ничего иного от её благородной души он и не ожидал, и все же, представив её спокойную, уверенную манеру держаться, серьёзно и в то же время с улыбкой, словно в ореоле доброты, он вдруг ощутил, будто вновь

смотрит в её глаза — он почувствовал искреннюю благодарность, тут же бросился к столу, долго и подробно писал ей. Так они вернулись к старой традиции, которая была прервана на долгое время, традиции рассказывать друг другу о своей жизни — мировые катаклизмы не смогли порвать все их связи.

Сейчас он был благодарен судьбе за ясность своей жизни: карьера удалась, предприятие процветало, в доме росли дети, которые играли, говорили, ластились к нему и своей матери. А от того юношеского пожара, в котором сгорали его ночи и дни, остался лишь огонёк, спокойный, ровный свет дружбы, ничего не требующей и ничему не угрожающей. Поэтому, когда два года спустя одна американская компания поручила ему провести в Берлине переговоры, у него возникло совершенно естественное желание лично засвидетельствовать своё почтение женщине, которую он некогда любил, но теперь считал добрым другом. Едва приземлившись в Берлине, он первым делом заказал в отеле телефонный разговор с Франкфуртом. Что-то символичное усмотрел он в том, что за девять лет номер её телефона не поменялся. «Добрый знак, — подумал он, — ничего не изменилось». В этот момент раздался резкий звонок телефона, и внезапно его охватила дрожь, он представил себе её голос, который сейчас услышит совсем близко, услышит теперь, спустя столько времени! Стоило ему назвать своё имя и услышать в ответ испуганный вскрик безмерного изумления «Людвиг, это ты?», как его бросило в жар. Было почти невозможно продолжать разговор, трубка дрожала в его руках. Верно, этот звонкий испуганный звук её голоса и этот громкий вскрик радости затронули в нем какой-то потаённый нерв, ибо он чувствовал, как кровь закипела в его висках, и он с трудом понимал её слова. Помимо своей воли, будто кто-то нашептал ему, он пообещал, вовсе не желая того, что через день приедет во Франкфурт. С этого момента он потерял покой: улаживал дела, будто в лихорадке, носился по городу на автомобиле, чтобы завершить все переговоры в два раза быстрее. И когда, проснувшись на следующее утро, он вспомнил приснившийся ему сон, то понял: спустя годы впервые он видел её во сне.

Через два дня он, заранее оповестив о своём прибытии телеграммой, холодным ранним утром приближался к её дому. Неожиданно, глядя в витрину знакомой булочной, он заметил, что идёт не своей походкой, не той походкой твёрдого, целеустремлённого и уверенного в себе человека, каковым он стал там, в Мексике. «Почему я снова иду, как робкий нерешительный юнец, каким был раньше в двадцать три года, когда дрожащими пальцами сконфуженно смахивал пыль со своего изношенного пиджака и надевал новые перчатки, прежде чем взяться за дверную ручку? Почему моё сердце вдруг так заколотилось, почему я робею? Тогда какое-то тайное предчувствие говорило мне, что за этими медными дверьми меня ждёт то ли добрая, то ли злая судьба. Но сегодня, почему я склоняю голову сегодня, почему это нарастающее беспокойство вновь гасит во мне радость и уверенность?» Напрасно старался он взять себя в руки, он опять чувствовал себя одиноко, рядом с ней он все ещё оставался просителем, неуклюжим подростком. И горячая рука, которую он положил на металлическую ручку, все так же дрожала.

Однако стоило ему ступить за порог, как чувство отчуждения исчезло, потому что он увидел слезы на глазах у старого, исхудавшего и ссохшегося лакея.

— Господин доктор, — пробормотал тот сквозь всхлипы.

«Одиссей, — подумал потрясённый гость, — домашние псы узнают тебя. А узнает ли тебя госпожа?» Как раз в этот момент раздвинулась портьера, и она вышла, протянув ему навстречу руки. Одно мгновение, держась за руки, они смотрели друг на друга. Короткий и все же наполненный волшебством миг узнавания, всматривания, изучения, раздумья, неловкой радости и облегчения от вновь опущенных глаз. Лишь после этого на лицах появилась улыбка, во взглядах — сердечное приветствие. Да, она была прежней, хотя немного постарела, слева, в расчёсанных, как прежде, на пробор волосах, виднелась серебряная прядь, голос её звучал ещё тише, приветливое лицо стало ещё более серьёзным. В тот момент, упиваясь её нежным голосом, таким приветливым из-за мягкого выговора, он почувствовал неутолённую жажду этих бесконечных лет. Она поприветствовала его:

— Как мило, что ты пришёл.

Эта фраза прозвучала чисто и свободно, словно удар камертона. Теперь разговор приобрёл своё звучание и опору, вопросы и ответы перетекали один в другой легко и непринуждённо, словно мелодия, которую они разыгрывали в четыре руки на одном фортепиано. Скопившаяся тяжесть и смущение исчезли при первых её словах. Пока она говорила, все его мысли повиновались ей. Но стоило ей раз замолчать, когда она взволнованно размышляла о чем-то, задумчиво опустив веки, скрывшие от него её глаза, как у него в голове проворной тенью промелькнул вопрос: «Разве это не те самые губы, которые я целовал?» И когда потом она оставила его одного, выйдя на мгновение из комнаты, чтобы ответить на телефонный звонок, со всех сторон на него навалилось прошлое. Пока она своим ясным присутствием озаряла комнату, этот неуверенный голос воспоминаний молчал, однако теперь у каждого кресла, у каждой картины прорезался свой голосок, и все они обращались к нему, сливаясь в тихий шёпот, понятный и слышный ему одному. «Я жил в этом доме, — думал он, — частичка меня осталась здесь, частичка того меня, из прошлого, я ещё не совсем ушёл отсюда в свой нынешний мир».

Она вернулась в комнату, как всегда с улыбкой, и голоса вновь смолкли.

— Людвиг, ты, конечно, останешься обедать, — сказала она весело, как нечто само собой разумеющееся. И он остался, остался на целый день подле неё. За разговорами они оглядывались на прошедшие годы. И вот что интересно, впервые они показались ему реальными, только когда он рассказал о них ей. Зато потом, когда он попросился, поцеловав её по-матерински нежную руку, и услышал, как за ним закрылась дверь, ему показалось, что он никогда не покидал этого дома.

Однако ночью, в незнакомом гостиничном номере, где слышно было лишь тиканье часов да сильные удары сердца в груди, это успокаивающее чувство исчезло. Он не смог уснуть, встал и зажёл свет, потом снова выключил и дальше лежал без сна. Он все думал о её губах, о том, что знал их не только по тихим доверительным разговорам. И вдруг он понял, что вся эта невозмутимая беседа между ними была ложью, что оставалось в их отношениях что-то нерешённое и незавершённое и что вся их дружба была лишь искусственной маской, надетой поверх нервного, раздражённого лица, смущённого волнением и страстью. Слишком много времени, слишком много ночей там, у костра, в своей хижине, представлял он их встречу совсем иначе: бурные, пламенные объятия, её, готовую отдаться ему, — слишком много лет, слишком много дней и ночей мечтал он совсем о другом, чтобы вчерашняя любезная, вежливая беседа оказалась правдой. «Актёр, — сказал он про себя, — и актриса, оба хороши, но вам не обмануть друг друга. Не сомневаюсь, что этой ночью она тоже не спит».

Когда на следующее утро он пришёл к ней, она, вероятно, сразу заметила его нервозность, беспокойство и уклончивый взгляд, потому что её первая фраза прозвучала очень путано, да и потом ей так и не удалось придать разговору ровный тон. Он то начинал что-то быстро рассказывать, то обрывал рассказ, тогда повисали неловкие паузы. Что-то стояло между ними, обо что разбивались все вопросы и ответы. Оба понимали, что о чем-то умалчивают, в конце концов беседа их запуталась от осторожного словесного хождения по кругу.

Он вовремя это заметил и, когда она пригласила его отобедать, отговорился срочным совещанием в городе.

Она выразила искреннее сожаление, и в её голосе снова послышались теплота и робкие нотки нежности. И все же она не решилась всерьёз удерживать его. Пока она провожала его до дверей, они избегали смотреть друг на друга. Нервы были напряжены до предела, разговор вновь и вновь спотыкался о какое-то незримое препятствие, которое следовало за ними из комнаты в комнату, от слова к слову и теперь, разросшееся до невероятных размеров, не давало дышать. Поэтому, когда он, уже накинув пальто, стоял в дверях, оба почувствовали облегчение. Но тут он вдруг решительно обернулся.

— Я, собственно, хотел тебя кое о чем попросить, прежде чем уйду.

— Конечно, проси о чем угодно! — улыбнулась она, вновь сияя от радости, что сможет выполнить ещё одно его желание.

— Возможно, это глупо, — сказал он, в нерешительности глядя на неё, — но, думаю, ты поймёшь. Я бы хотел ещё раз взглянуть на комнату, свою комнату, в которой прожил два года. Видишь ли, если я сейчас уйду, не заглянув туда, то у меня не останется чувства, что я побывал дома. С возрастом люди начинают искать собственную юность и находят глупую радость в маленьких воспоминаниях.

— Ты и возраст, Людвиг, — возразила она почти озорно, — какой же ты тщеславный! Посмотри лучше на меня, на седину в моих волосах. Рядом со мной ты выглядишь мальчиком, а говоришь о возрасте. Оставь эту маленькую привилегию мне! Но как же я сразу не отвела тебя в твою комнату? Потому что это ведь до сих пор твоя комната. Там ничего не изменилось. В этом доме ничего не меняется.

— Надеюсь, ты тоже, — попытался пошутить он.

Она посмотрела на него, чуть покраснев, и взгляд его невольно смягчился.

— Люди стареют, но остаются прежними.

Они поднялись наверх, в его комнату. Уже в дверях произошла немного неловкая сцена: открывая дверь, она сделала шаг назад, чтобы пропустить его, и в результате обоюдной вежливости, когда они пытались уступить друг другу дорогу, их плечи слегка соприкоснулись в дверном проёме. Оба, испугавшись, непроизвольно отпрянули в стороны, но одного мимолётного соприкосновения тел было достаточно, чтобы смутить их. Они молчали, скованные мучительным замешательством, которое с удвоенной силой ощущалось в безмолвной пустой комнате. Взволнованная, она поспешила к окну и открыла гардины, чтобы впустить в комнату больше света и развеять почти давящую темноту. Но стоило ярким солнечным лучам проникнуть сюда, как предметы, казалось, вдруг ожили и, испугавшись, беспокойно задвигались. Они важно выступали вперёд и навязывали какое-нибудь воспоминание. Вот шкаф, который украдкой прибирала её заботливая рука, вот книжные полки, которые заполнялись согласно любому его мимолётному желанию, а вот кровать, под раскинутым покрывалом которой похоронено столько грёз о ней. Там, в углу, — воспоминание обожгло его, — оттоманка, на которой она тогда ускользнула из его объятий. Он был взбудоражен вновь вспыхнувшей страстью, и повсюду ему виделся её прежний образ, непохожий на ту женщину, которая, отвернувшись, стояла сейчас рядом с ним, невероятно чужая, с неуловимым взглядом. Молчание, сгустившееся в комнате за долгие годы и испуганное присутствием здесь людей, давило на них, срывало дыхание в лёгких и сжимало опечаленное сердце.

Что-то нужно было сказать, что-то должно было развеять это молчание — оба его чувствовали. И она, вдруг обернувшись, заговорила.

— Все точно так, как и прежде, не правда ли? — решительно начала она разговор о чём-то незначительном и безобидном, и все же голос её дрожал, словно охрипший.

Но он не поддержал её любезную беседу.

— Да, все, — процедил он сквозь зубы с внезапно вспыхнувшей злостью. — Все как и прежде, кроме нас, кроме нас!

Этот упрёк словно ужалил её. Ужаснувшись, она повернулась к нему.

— Что ты имеешь в виду, Людвиг?

Но он на неё не смотрел. Его глаза сейчас искали не её. Безмолвные и горящие ярким пламенем, они были устремлены на её губы, те самые губы, которые когда-то горели поцелуем на его устах, он смотрел на эти губы, которые когда-то чувствовал, влажные и манящие. Смущаясь, она поняла, что он смотрит на неё с вожделением, румянец залил её щеки, таинственным образом сделав моложе её лицо, так что она показалась ему прежней, такой, как в час их расставания в этой комнате.

Она попыталась ещё раз сделать вид, что не понимает очевидного, чтобы отвести от себя его впивающийся, опасный взгляд.

— Что ты имеешь в виду, Людвиг? — повторила она, но фраза прозвучала скорее как просьба ничего не объяснять, чем вопрос, требующий ответа.

Тогда он уверенно и решительно шагнул к ней, по-мужски взглянув в её глаза.

— Ты не хочешь меня понимать, но я знаю, что ты все же понимаешь меня. Помнишь эту комнату? А помнишь, что ты обещала мне в этой комнате... когда я вернусь?..

Плечи её дрожали, она все ещё пыталась уйти от ответа:

— Оставь это, Людвиг... все в прошлом, давай не будем его беречь. Время не вернуть.

— Время — это мы, — ответил он твёрдо, — время в нашей воле. Я девять лет ждал, закусив губы. Но я ничего не забыл. И потому спрашиваю тебя, помнишь ли ты?

— Да, — ответила она, спокойно глядя на него, — и я ничего не забыла.

— И теперь — ему пришлось перевести дыхание, чтобы закончить вопрос, — хочешь ли ты исполнить своё обещание?

Румянец опять залил её лицо. Она подошла к нему и успокаивающе сказала:

— Людвиг, опомнись! Ты утверждаешь, что ничего не забыл. Но посмотри, я уже почти старуха. Мне нечего желать и нечего тебе дать. Прошу тебя, оставь все в прошлом.

Однако он пожелал оставаться твёрдым и решительным до конца.

— Ты уклоняешься от ответа, — настаивал он, — но я слишком долго ждал, ещё раз спрашиваю тебя, ты помнишь своё обещание?

Её голос сбивался на каждом слове:

— Почему ты спрашиваешь меня об этом? Сейчас, когда уже слишком поздно, мой ответ не имеет значения. Но если ты настаиваешь, я отвечу тебе. Я никогда ни в чем не могла отказать тебе, я всегда принадлежала тебе — с того самого дня, как познакомилась с тобой.

Он смотрел на неё: как же прямо она держалась, как ясно, как искренне, даже несмотря на замешательство, она не трусила и не увиливала, всегда неизменная, чудесным образом сберёгшая себя за минувшие годы, замкнутая и одновременно открытая. Он невольно шагнул к ней, однако стоило ей заметить стремительность его движения, она с мольбой отпрянула от него.

— Пойдём же, Людвиг, пойдём, нам не стоит оставаться здесь, давай спустимся вниз. Горничная может хватиться меня в любой момент. Нам не следует оставаться здесь дольше.

Её внутренняя сила так непреодолимо склонила его волю, что он, как и прежде, беспрекословно подчинился ей. Они спустились в гостиную, прошли по коридору к двери, не проронив ни слова, ни разу не взглянув друг на друга.

У двери он вдруг обернулся.

— Прости меня, но сейчас я не могу говорить с тобой. Лучше я напишу.

Она улыбнулась ему с благодарностью.

— Хорошо, Людвиг, напиши мне.

Едва он ступил за порог своего номера, как бросился к столу. Он написал ей длинное письмо, а внезапно разгоревшаяся страсть с каждым словом, с каждой страницей все сильнее подстёгивала его. Он писал, что завтра уезжает из Германии надолго, на месяцы, годы, а возможно, навсегда, и не хотел бы уходить от неё вот так, оставив в памяти лицемерие холодного разговора и неискренность натянутой светской встречи, что он хотел бы поговорить с ней ещё раз, наедине, вдали от дома. И потому он предложил ей поехать с ним на вечернем поезде в Гейдельберг, где они вместе отдыхали десять лет назад, когда были ещё чужими друг для друга, но уже предчувствовали духовную близость. Наверное, сегодняшняя поездка может стать для них прощальной, но он жаждал только этого прощания, последнего, настоящего, он просил у неё лишь этот вечер, эту ночь.

Он поспешно запечатал письмо и отправил его с посыльным к ней домой. Уже через четверть часа тот вернулся, держа в руках маленький жёлтый конверт. Дрожащими пальцами он выхватил его — внутри оказалась лишь записка, несколько слов, написанных её твёрдым, решительным почерком, торопливым и чётким одновременно: «То, что ты предлагаешь, настоящее безумие, но я никогда не могла отказать тебе, да и сейчас не буду. Я приду».

Поезд замедлил ход — мимо станции, огни которой проплывали, полагалось ехать медленнее. Взгляд погрузившегося в воспоминания пассажира невольно прояснился и устремился вперёд, чтобы вновь увидеть нежный, обращённый к нему из полутени образ,

которым были полны его воспоминания. Да, то была она, верная подруга, все ещё любящая его. Она пришла к нему, и он не переставал упиваться её близостью. Она, словно почувствовав робкое ласкающее прикосновение его ищущего взгляда, выпрямилась и посмотрела в окно, за которым проносился неясный пейзаж, слякотный и по-весеннему мрачный, будто блестящая чёрная гладь воды.

— Мы уже скоро приедем, — сказала она, как будто обращаясь к себе самой.

— Да, — ответил он, глубоко вздохнув, — целая вечность прошла.

Он и сам не знал, что скрывалось за этим вздохом нетерпения, то ли поездка, то ли все долгие годы вплоть до этого часа. Воспоминания и действительность перемешались. Он понимал лишь, что внизу стучали колеса, приближая его к какому-то моменту, которого он не мог разглядеть из-за странной спутанности сознания. А поезд нёс его определённо навстречу чему-то таинственному. Чувство, овладевшее им, было похоже на предвкушение первой брачной ночи. Но одновременно сладостный и волнующий трепет прерывался страхом перед последствиями этого шага: а что, если мечта сбудется, что будет, когда бесконечно и страстно желаемое вдруг откроется переполненному сердцу. Нет, только ни о чем сейчас не думать, ничего не желать, ничего не требовать, плыть по течению неизвестного потока, не прикасаясь друг к другу и все же чувствуя, желая друг друга, но не достигая. Только бы оставаться в этом состоянии всегда, провести целую вечность в этих вечерних сумерках, погрузившись в воспоминания. Да, в этот момент его пугала мысль, что все может скоро закончиться.

А за окном в долине уже мерцали, подобно светлячкам, электрические искры, все ярче и ярче, то тут, то там, и по ту и по эту сторону вагона, фонари слились в два прямых ряда, колеса стучали все громче, и вот из темноты бледным куполом уже поднялась светлая дымка над близким городом.

— Гейдельберг, — поднимаясь, сказал кто-то из адвокатов своим коллегам. Все трое как по команде подхватили свои одинаковые туго набитые портфели и поспешили покинуть купе, чтобы первыми оказаться у выхода. Поезд подъехал к вокзалу, притормаживая и неровно стуча колёсами, последовал сильный, резкий толчок, затем состав замер. Мгновение они сидели вдвоём, друг напротив друга, будто испугавшись внезапно нагрянувшей действительности.

— Уже приехали? — в голосе её слышалась тревога.

— Да, — ответил он и встал. — Позволь помочь тебе.

Она отказалась и поспешила к выходу. Однако на подножке поезда она на мгновение остановилась, не решаясь сойти, словно боясь опустить ногу в ледяную воду, потом взяла себя в руки, он молча последовал за ней. Какое-то время они стояли рядом на перроне, беспомощные, чужие, смущённые неловкой ситуацией, в руке у него тяжёлым грузом висел маленький чемоданчик. В этот момент вновь оживший поезд неожиданно резко выдохнул остатки пара. Она вздрогнула и, побледнев, сконфуженно и неуверенно посмотрела на него.

— Что с тобой? — спросил он.

— Жаль, мы так хорошо ехали.

Он молчал. В ту секунду и он подумал о том же. Но они приехали, и нужно было что-то делать дальше.

— Идём? — предложил он осторожно.

— Да-да, конечно, — пролепетала она еле слышно. И все же оба продолжали неуверенно стоять на перроне, будто что-то внутри них надломилось. Лишь спустя какое-то время — он забыл взять её под руку — они нерешительно и смущённо направились к выходу.

Они вышли на привокзальную площадь, и их накрыло волной рокочущего гула толпы, которая надсадно ревела под дробный аккомпанемент барабанного боя, — патриотическая демонстрация союза бывших фронтовиков и студентов. Они двигались живой стеной, колонна за колонной, по четыре человека в ряд, одетые по-военному, с развевающимися знамёнами, громко чеканя шаг, в общем порыве — вскинутые подбородки, суровые лица, распахнутые рты, стройный хор голосов, сливающихся в звонком марше, они шли как единое целое — один голос, один шаг, один ритм. В первом ряду генералы, седовласые герои, грудь в орденах, по краям — молодая смена, красавцы-атлеты, с гигантскими стягами в могучих руках, черепа и



свастика, крепкие парни — грудь колесом, голова вперёд, готовые ринуться в атаку на врага. Казалось, чья-то невидимая рука распределила людскую массу в строгие каре и двинула вперёд, заставив соблюдать до миллиметра выверенную дистанцию и общий ритм строя, и вот теперь они шагали — ветераны, мальчики из «Юнгфольк», студенты — мимо помоста с барабанным механизмом, отбивавшим дробь, в этот момент головы марширующих, будто нанизанные на невидимую верёвку, в едином порыве поворачивались налево — там с каменным лицом возвышался военачальник, принимая парад. А барабанный бой, ещё более крамольный в своей монотонности, рвался все выше и громче, возвещая об огне, разгорающемся в кузнице войны и мести, гудящем на мирной площади под чарующим небом и кротко парящими облаками.

— Безумцы, — ошеломлённо пробормотал он, чувствуя дрожь в ногах, — Безумцы! Чего они добиваются? Повторения?

Повторения войны, которая разрушила всю его жизнь? С отвращением, неведомым ему доселе, вглядывался он в юные лица, пристально смотрел на шествие чёрной массы, выстроенной в четыре ряда, похожей на кадры киноплёнки, которая разматывалась из узкого переулка, как из чёрного ящика кинокамеры. Каждое лицо имело одно и то же застывшее выражение злобы, вселяло страх. Почему это военное чудовище, отбивая строевой шаг, подняло голову тёплым июньским вечером, почему под бой барабанов вошло в приветливый, погруженный в мечты город.

Он до сих пор верил в то, что мир кристально ясен и звонок, что он озарён светом нежности и любви, что в нем звучит мелодия добра и доверия, — и вдруг эта железная поступь массы все растоптала; она выражала одно — ненависть, ненависть, ненависть.

Он невольно схватил её руку, чтобы ощутить чьё-то тепло, любовь, доброту, однако барабанная дробь уже расколола мир надвое, и теперь, когда тысячи голосов слились в одной непонятной военной песне, ему показалось, будто что-то хрупкое и звонкое внутри разбивается об этот яростный, надвигающийся гул действительности.

Он вздрогнул от лёгкого прикосновения: её рука, одетая в перчатку, осторожно дотронулась до его руки, судорожно сжимавшейся в кулак. Он оторвал свой пристальный взгляд от толпы и повернулся к ней — она безмолвно смотрела на него с мольбой, и он почувствовал, как она слабо тянет его за рукав.

— Да, идём, — пробормотал он, приходя в себя, поднял плечи, словно защищаясь от чего-то невидимого, и решительно направился сквозь толпу зевак, которые, как и он, молча смотрели, словно прикованные, на бесконечное шествие военных легионов. Он не знал, куда идёт, лишь бы выбраться из шумного столпотворения. Только прочь, но где же побыть с ней наедине, лишь с ней, в полумраке, под одной крышей, почувствовать её дыхание, впервые за десять лет посмотреть ей в глаза, когда никто не будет мешать и следить за ними? Его взгляд нервозно скользил по домам, все они были украшены флагами, на некоторых золотыми буквами виднелись названия фирм, на других — постоянных дворов. Да, нужно было где-то отдохнуть, побыть дома, одним! Купить себе немного тишины, комнату в несколько квадратных метров! И, словно отвечая на его мольбы, на высоком каменном фасаде появилась блестящая золотая вывеска отеля, который раскрыл им навстречу стеклянные двери главного входа. Он замедлил шаг, затаил дыхание, смущённо остановился, невольно высвободил свою руку из её руки.

— Это хороший отель, мне его рекомендовали, — солгал он, запинаясь от смущения.

Она в испуге отшатнулась от него, кровь прилила к бледному лицу. Её губы зашевелились, будто желая что-то сказать, возможно, то же, что и десять лет назад: «Не сейчас! Не здесь».

Но в этот момент она увидела, как он смотрит на неё — боязливо, растерянно, нервно. И, склонив голову в молчаливом согласии, она последовала за ним через порог маленькими, робкими шагами.

За стойкой регистрации в углу вестибюля стоял бездельник портье, в пёстром колпаке, важный, как капитан на мостике корабля. Он не сделал ни шагу навстречу нерешительным

гостям, лишь бросил беглый, оценивающий взгляд на маленький чемоданчик. Портье ждал, они должны были подойти к нему сами, а он в этот момент принялся усердно изучать запахнутый журнал регистрации. Лишь когда желавший остановиться в отеле гость приблизился к нему почти вплотную, он поднял на него холодный взгляд и по-деловому строго осведомился, забронирован ли у господ номер, а услышав отрицательный ответ, вновь принялся листать журнал.

— Боюсь, что у нас все занято. Сегодня день освящения знамён, хотя, — милостиво добавил он, — я посмотрю, что можно сделать.

«Дать бы по морде этому ливрейному хаму», — со злостью думал униженный гость, впервые за десять лет вновь почувствовавший себя незванным попрошайкой, который принимает чужую милость. А между тем надменный портье закончил свою обстоятельную проверку.

— Номер двадцать семь с полчаса как освободился. Двухспальный. Возьмёте его?

Ему ничего не оставалось, как, проглотив обиду, быстро согласиться, и вот он уже брал дрожащей рукой протянутый ему ключ, с нетерпением ожидая того момента, когда немые стены встанут преградой между ним и остальным миром.

Но тут сзади снова раздался строгий голос: «Вы забыли зарегистрироваться», — и перед ним появился прямоугольный лист бумаги, расчерченный на десяток граф, которые ему предстояло заполнить: звание, имя, возраст, происхождение, место проживания и место рождения, род занятий. Неприятная процедура была завершена, лишь когда он вписал её имя, не настоящее, а то, о котором когда-то мечтал, связанное с его именем брачным союзом. И в тот момент карандаш в его руке дрогнул.

— Вот здесь ещё, пожалуйста, срок пребывания, — потребовал непреклонный портье, проверяя написанное и тыкая мясистым пальцем в незаполненную клетку.

«Один день», — злобно вписал карандаш. Раздражённый гость уже чувствовал, как у него взмок лоб, пришлось снять шляпу — чужой воздух отеля уже угнетал его.

— Второй этаж налево, — разъяснил, проворно подскочив, вежливый и услужливый официант, когда обессилевший постоялец отвернулся от портье. Но он искал только её. Во время всей процедуры она стояла неподвижно, напряжённо изучая афишу, которая сообщала о вечере Шуберта, где должна была выступать какая-то незнакомая певица; пока она так неподвижно стояла, по плечам её волнами пробегала дрожь, словно ветер над лугом. Он со стыдом отметил её едва заметную брезгливость. «Зачем я вырвал её из спокойных домашних стен и привёз сюда?» Но пути назад не было.

— Идём, — поторопил он её еле слышно. Она оторвала свой взгляд от афиши и, не показывая ему своего лица, первой поднялась по лестнице, медленно, с трудом, тяжело ступая. «Как старуха», — невольно подумал он.

Эта мысль задержалась лишь на секунду, когда его возлюбленная положила руку на перила, преодолевая последние ступени, и он сразу отогнал отвратительное сравнение. Однако что-то холодное, причиняющее боль осталось на месте изгнанного ощущения.

Наконец они поднялись на свой этаж — в две минуты подъёма, наполненные молчанием, уместилась целая вечность. Одна из дверей была открыта, как оказалось, именно в их комнату, где горничная ловко орудовала тряпкой и метлой.

— Минуточку, я уже заканчиваю, — извинилась она, — я как раз прибираюсь, но господу могут проходить, я только принесу свежее бельё.

Они вошли. В замкнутой комнате сгустился плотный и сладковатый воздух, пахло оливковым мылом и сигаретным дымом — где-то ещё прятался след жившего здесь постороннего человека.

Посреди комнаты дерзко стояла кровать, тоже, вероятно, ещё хранившая тепло человеческого тела, она явно была смыслом этого помещения. Его передёрнуло от такой прямолинейности. Непроизвольно он отступил к окну и запахнул его — влажный, немного мягкий воздух, смешанный с приглушенным шумом улицы, медленно полился в комнату, раздувая гардины. Он стоял у открытого окна и напряжённо всматривался в крыши домов, уже

погрузившиеся в тень. Какой мерзкой была эта комната... Как стыдно было находиться здесь... Какая пошлость в конце стольких лет страстного ожидания этой минуты — ни он, ни она не хотели, чтобы все случилось здесь и столь непристойным образом! Он смотрел в окно три, четыре, пять секунд — он их считал, малодушно не решаясь заговорить. «Нет, так нельзя», — подумал он и заставил себя обернуться. Предчувствие его не обмануло: она стояла словно окаменевшая, посреди комнаты, в сером плаще, руки заломлены, чужая в этом мерзком помещении, куда ошибочно попала по воле случая. Она сняла перчатки, видимо, хотела положить их куда-нибудь, но все в этой комнате вызывало у неё отвращение, поэтому они так и остались у неё в руках, словно пустые оболочки. Глаза её застыли, лишь когда он повернулся к ней, они с мольбой обратились к нему. Он все понял.

— Может быть, — произнёс он, запинаясь, сдавленным голосом — может быть, прогуляемся немного? Здесь так душно.

— Да-да, — вырвалось из её груди. И будто в страхе за то, что он может ещё передумать, её рука схватилась за дверную ручку. Он последовал за ней и только заметил, что её плечи дрожали, как у животного, которое избежало мёртвой хватки хищника.

Улица ждала их, тёплая и многолюдная, словно бурный поток. Они свернули в тихий переулок, а потом дальше, на лесистую дорогу, ту самую, по которой они уже поднимались десять лет назад, во время воскресной поездки в замок.

— Помнишь, тогда было воскресенье, — сказал он, и она, по-видимому занятая теми же воспоминаниями, тихо ответила:

— Я помню все, что связано с тобой. Отто был со своим школьным другом, они так спешили попасть в замок, что мы их чуть не потеряли. Я все звала его и звала, хотя... мне так хотелось побыть с тобой наедине. А ведь мы тогда были ещё чужими.

— Как и сейчас, — попытался он пошутить, но она промолчала. Он смутно чувствовал, что ему не следовало этого говорить. «Что заставляет меня постоянно сравнивать прошлое и настоящее? И почему сегодня мне не даётся разговор? Все время вклинивается прошлое?»

Они молча поднимались в гору. Неяркие огни домов ушли вниз, в сумеречную долину, где светлой дугой протекала река. Казалось, отсюда на них опускалась тьма, вокруг шумели деревья. Никто не попался им навстречу. Впереди двигались только их безмолвные тени. И каждый раз, когда падающий на них сверху свет фонарей начинал светить им в спину, тени их сливались, словно в объятии, потом вытягивались — и то стремились друг к другу, соединяясь в одно целое, то расходились, чтобы вновь прижаться руками. Как зачарованный, наблюдал он за этой причудливой игрой теней, за тем, как они расходились, сходились и вновь оставляли друг друга, эти образы, лишённые души, призрачные тела, их собственные продолжения и отражения. С болезненным любопытством смотрел он, как фантомные фигуры убегали и сталкивались, и за меняющейся и мелькающей чёрной картинкой почти позабыл о своей спутнице. Он ни о чем не думал, лишь смутно чувствовал, что робкая игра теней напомнила ему что-то, скрытое глубоко в памяти, как на дне колодца. И теперь вот оно потревожено воспоминаниями. Что же это было? Он напряг все свои чувства, чтобы понять, о чем же напоминала ему эта игра. Должно быть, какую-то фразу или что-то, что он пережил, слышал, чувствовал, что окутано мелодией, давно забытой, о чем он не думал уже многие годы.

И вдруг яркая молния воспоминания прорезала тёмный небосвод забвения. Это была фраза из стихотворения, которое она читала ему однажды вечером. Точно, это было стихотворение, французское, он знал его наизусть. Словно навеянное горячим ветром, оно уже было готово сорваться с его губ, сквозь годы он слышал, как она произносила забытые строчки французского стиха:

Dans le vieux parc solitaire et glac  
Deux spectres ont voque pass

Едва эти строчки вспыхнули в его памяти, как волшебным образом сложилась и вся картина того далёкого вечера: золотой свет лампы в полутёмной гостиной, она читает ему

стихи Верлена. Он видит её лицо, на котором лежит тень от абажура, её саму, такую близкую и одновременно далёкую, любимую и недоступную, чувствует, как от волнения бьётся его собственное сердце, внемлющее переливам её голоса, который повторяет звонкий ритм стиха, он слышит, как она произносит слова «тоска» и «любовь», пусть стихотворные, пусть на чужом языке и не к нему обращённые, и все же опьяняющие, ведь это она говорит их. Как мог он забыть это стихотворение и годами не вспоминать того вечера, когда они остались в доме одни и, смущённые этим уединением, сбежали от опасного разговора в непринуждённую сферу книг, где за словами порой мелькало признание в сокровенных чувствах, словно огонёк в лесу, неуловимый и все же дарящий радость. Как мог он забыть об этом? И почему вдруг вспомнилось это забытое стихотворение? Он невольно произнёс эти строчки вслух на родном языке:

Забвенный мрак аллея обледенелых  
Сейчас прорезали две тени белых {Пер. И. Анненского.}.

И стоило ему их сказать, как он сразу все понял — это воспоминание в колодце памяти было игрой теней, тени коснулись и разбудили слово, связанное с ними, а потом и все остальное. Содрогнувшись, он понял пугающий смысл этого воспоминания, правдивый смысл стихотворных строчек. Разве сами они не были тенью, ищущими своё прошлое, задающими смутные вопросы минувшему, которого уже не вернуть, тенью, которые хотели жить, но не могли — ни она, ни он уже не были прежними. Они были другими, но все же гнались за прошлым, напрасно мучаясь, убегая и возвращаясь, затрачивая тщетные усилия на поиски, как эти черные призраки под их ногами.

Он, должно быть, непроизвольно простонал, потому что она повернулась к нему и спросила:

— Людвиг, что с тобой? О чем ты задумался?

Но он лишь отмахнулся:

— Так, ни о чем!

Он ещё напряжённое прислушался к себе, к своему прошлому, в надежде вновь услышать тот голос, правдивый голос воспоминаний, который заговорит с ним и через прошлое откроет настоящее.

## От составителя

Стефан Цвейг родился в 1881 году в Вене в богатой семье из верхушки среднего класса. Его отец, Мориц, получивший в наследство небольшую ткацкую фабрику в Моравии, превратил её в крупнейшее текстильное предприятие Австрии. Мать Стефана, Ида, происходила из богатой семьи еврейских банкиров. Детство и юность будущего писателя были обеспеченными и безмятежными. Родители любили его, поощряли его стремление к культуре и образованию, никогда не заставляли заниматься тем, что не нравилось бы Стефану. Таким образом, Стефан Цвейг стал одним из тех людей, которые создали культуру двадцатого века — благополучным выходцем из буржуазии, имевшим время и желание осмысливать человеческое бытие в гуманитарном аспекте, заниматься художественным творчеством, творить не на продажу, а для ума и сердца. Благодаря своему происхождению с ранних лет он приобрёл гуманистические, либеральные и даже пацифистские убеждения, которых придерживался всю свою жизнь. В то же время он никогда не чувствовал себя только евреем, он чувствовал себя австрийцем и, главным образом, европейцем.

Учеба в школе давалась Стефану нелегко, потому что школьная программа не затрагивала главного интереса Стефана — литературы. Любимым автором его ранних лет был Гуго фон Гофмансталь, поэт, драматург, либреттист Рихарда Штрауса. Музыкальный язык, символизм и импрессионистские приёмы Гофмансталя побудили Стефана самого заняться литературным творчеством. В 1902 году за собственный счёт он издал книгу стихов

«Серебряные струны». В 1904 году Стефан Цвейг получает степень доктора германской и романской филологии в Берлине. После этого он совершает несколько путешествий — по Европе — от Голландии до Испании, а затем в Индию, Северную Африку, в Соединённые Штаты Америки, Панаму и Кубу.

До Первой мировой войны его жизнь состоит из постоянных переездов между Веной, Парижем и Швейцарией. Он в постоянном общении со все новыми людьми. Стефан любил людей, интересовался их жизнью и творчеством, искал знакомства и дружбы с наиболее интересными писателями своего времени. И эти интересные люди отвечали ему тем же, дружили с ним. Он состоял в переписке с такими по-разному знаковыми фигурами своего времени, как Райнер Мария Рильке, Ромен Роллан, Джеймс Джойс, Эмиль Верхарн, Зигмунд Фрейд, Артур Шнитцлер, Максим Горький. Каждый из них считал Стефана своим близким личным другом. Стефан Цвейг оставил после себя более 20 тысяч писем, адресованных этим и другим людям.

Искренний интерес к людям и их судьбам, а также литературный дар сделали Стефана непревзойдённым мастером биографической прозы. Его книги о Марии Стюарт, Магеллане, Эразме Роттердамском и Бальзаке — эталонные образцы этого жанра.

В 1912 году он знакомится с Фридерикой Марией фон Винтерниц, на которой женится в 1920 году. С ней его объединяет мечта о единой культурной Европе, в которой противоречия решались бы только ненасильственным путём. Отвращение к насилию в любом его проявлении — одна из самых ярких черт Цвейга-автора и Цвейга-человека.

Первая мировая война повергла писателя в глубокий шок. В военные годы он работает в венском военном архиве. Он мучительно ищет для себя ответ на вопрос: «Кто мог бы спасти Европу от ужаса и несчастий?» И решает, что эти люди — писатели. Он пишет эссе о Томасе Манне, Марселе Прусте, Ромене Роллане и Максиме Горьком. В них он видит совесть человечества.

После войны он поселяется в Зальцбурге и именно в эти годы пишет свои знаменитые биографии и новеллы. В 20-е годы он — самый читаемый автор в Европе. В 1928 году правительство Советского Союза приглашает его принять участие в юбилейных торжествах по случаю столетия Льва Толстого.

10 мая 1933 года, во время печально известного сожжения нацистами «вредных» книг, на костёр были отправлены и книги Цвейга. Писатель почувствовал себя неуютно в пошатнувшемся европейском доме и перебрался с женой в Англию. Несмотря на финансовое благополучие, он ощущал себя в Лондоне изгоем, лишним человеком. Эта ситуация усугубилась, когда Германия вторглась в Польшу в 1939 году и Цвейг вместе с другими выходцами из Австрии был причислен в Англии к лицам враждебного происхождения.

Эти события сопровождалась изменениями в личной жизни писателя. В 1938 году закончился его брак с Фридерикой Марией. И он женился на своей молодой секретарше Лотте Альтман.

Не выдержав военных потрясений Европы, писатель покидает её навсегда. С молодой женой он переезжает сначала в Нью-Йорк, где не чувствует себя счастливым, а затем в Бразилию, где покупает дом в небольшом городе Петрополисе.

В 1942 году он пишет свою лебединую песню — «Шахматную новеллу». Историю шизофрении человека, чья воля выдержала столкновение с миром, в котором правят нацисты, а психика — не смогла. Почти то же самое случилось и с самим писателем.

«Я приветствую своих друзей! — писал Цвейг в своей предсмертной записке. — У них ещё есть шанс увидеть рассвет после долгой ночи. Я же слишком нетерпелив и уйду первым». Оказавшись в полной культурной и эмоциональной изоляции, в бразильской провинции, где не было даже телефона, Цвейг и его жена Лотта решили вместе умереть и 22 февраля 1942 года приняли по смертельной дозе веронала.